

Об эвристическом потенциале метафоры

В.Н. Сыров
ТОМСК

Устойчивый интерес к метафоре становится вполне понятным, если исследования предпринимаются с целью расширить сферу ее применения или обосновать возможность такого расширения. Проблема в том, что родоначальник изучения данной проблематики задал как само определение, так и последующее направление поиска места и роли метафоры, охарактеризовав ее как «переносное слово». «Переносное слово (*metaphora*) – это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии». [1. 669]. Тем самым метафора была связана с некоторыми преобразованиями фрагментов языка, суть которых состояла, в конечном счете, в замене прямого выражения или прямого употребления слов (или выражений) косвенным или иносказательным. При этом оказывается не столь важным, идет ли речь о замене одного означающего другим, т.е. фигурах, либо о замене одного означаемого другим, т.е. тропах, согласно рассуждениям Цв. Тодорова [2. 123-124]. Данный подход одним из классиков изучения темы метафоры М. Блэком был назван «субституциональной концепцией». Как писал Блэк: «Любую теорию, согласно которой метафорическое выражение всегда употребляется вместо некоторого эквивалентного ему буквального выражения, я буду считать проявлением субституционального взгляда на метафору» [3. 158].

Здесь встает резонный вопрос. К чему приводит данный подход? По словам того же Блэка, в итоге «понимание метафоры подобно дешифровке кода или разгадыванию загадки» [3. 159]. Смысл такой дешифровки может состоять в реализации либо принципа «экономии», либо эстетического эффекта. В первом случае метафора используется для того, чтобы подобрать удачное или краткое обозначение (или означающее) для уже имеющегося значения (или означаемого). Что касается второго случая, то указание по этому поводу мы можем найти еще у Аристотеля. Как подчеркивал греческий мыслитель: «Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой» [1. 670]. Иначе говоря, использование метафор должно пробуждать или возбуждать чувственность. Правда,

следует отметить, что в обоих контекстах отпадает и сама необходимость истолковывать смысл метафоры. Достаточно звучного наименования.

Собственно такое толкование роли метафоры, видимо, и остается общепринятым. Как отмечается в литературном энциклопедическом словаре, благодаря метафоре «достигается эстетический эффект выразительности прежде всего в художественной, ораторской и публицистической речи (но также в бытовой и научной, в рекламе и т.п.)» [4. 446]. Не избегают этих мотивов и современные постмодернистские истолкования. Как отмечается в отечественной энциклопедии по постмодерну, «общие установки постмодерна на игровое употребление слова и его образное восприятие, на актуализацию коннотативных и контекстуально обусловленных компонентов семантики слова, на выявление поэтичности мышления и образно-художественных основ любой дискурсивной практики имеют своим следствием размытость и варьируемость смысла подобных терминов [имеются в виду т.н. концептуальные метафоры типа "мир – это энциклопедия", "мир – это библиотека", "мир – это словарь", "сознание – это текст" и т.д. Примечание автора], в результате чего их "метафорическое прошлое" в процессе вхождения в терминологическую систему не только не забывается и не стирается, а, напротив, постоянно осознается и актуализируется» [5. 468]. Повторяет приведенное Блэком определение Оксфордского словаря и определение, данное в современном словаре критической теории: «Метафора переносит значение имени или выражения на объект посредством аналогии или субституции» [6. 250]. Иначе говоря, представление о субституциональной природе метафоры с наделением ее соответствующими функциями продолжает хождение. Правда, при этом следует подчеркнуть, что расхожий характер данных определений довольно точно и отчетливо очерчивает место, где она не является избытком и излишним добавлением. Только здесь метафора остается необходимой.

Проблема возникает тогда, когда метафоре пытаются приписать иные функции, а в первую очередь, участие в реализации функции смыслопорождения или приращения значений. Но при этом становится очевидным, что сохранение установки о наличии буквальных и метафорических значений слов или выражений заводит в тупик все возможные попытки придать метафоре эвристический потенциал. Если предполагается, что буквальное значение известно или что имеет место т.н. «буквальное значение», то пресловутое метафорическое значение оказывается избыточным. Ведь воспроизведение данной позиции оставляет в силе все тот же вопрос, почему о чем-то не сказать прямо. Поэтому не достигают своей цели суждения о метафоре как сжатом сравнении или сопоставлении по аналогии. Как справедливо заметил Д. Дэвидсон: «Они делают глубинное, неявное значение метафоры удивительно очевидным и доступным» [7. 182]. Дело в том, что если мы уже изначально знаем, по какому признаку проводили аналогию между любовью и розой, человеком и волком, религией и путем, то необходимость применения метафоры снова отпадает. Зачем говорить метафорически о том, о чем можно сказать прямо. Можно сказать и категоричнее. Само полагание метафоры как операции установления подобия или сходства уже заставляет предполагать предварительное наличие подобий и сходств и столь же предварительное знание того, в чем они состоит.

Каким же должен быть путь, встав на который можно было бы решить или соединить две задачи: придать метафоре эвристический потенциал и сохранить ее необходимость или неустранимость? В качестве методологического указания, где его искать, воспользуемся рассуждениями Р. Рорти. В своей беседе с М. Рыклиным Рорти, проясняя позицию Дэвидсона о сути и роли метафоры, отметил, что нет надобности разделять значения слов на метафорические и буквальные. Он подчеркнул, что слово имеет только одно значение, «буквальное и более никакого» [8. 133]. Далее Рорти отметил, что метафора – это все-таки не шум в языке, а «использование слова с целями, отличающимися от тех, которые осуществляются в языковой игре» [8. 133]. Отсюда вполне логично вытекает следствие, что суть метафоры следует искать отнюдь не в характере значения слова или выражения. Метафора – это не разновидность значения слова или выражения, а процедура, операция, действие с теми или иными объектами, в данном случае с объектами, обладающими знаковой природой. Пока, следуя мысли Дэвидсона, можно сказать, что это операция с буквальными значениями.

В чем же ее суть? Здесь стоит вернуться к рассуждениям М. Блэка, а именно к подходу, названному им «интеракционистской точкой зрения на метафору». Суть его в истолковании метафоры как взаимодействия т.н. «главного субъекта» и «вспомогательного субъекта». К примеру, в метафоре «человек – волк» «человек» будет являться главным субъектом, а «волк» – соответственно вспомогательным. Тонкость предложенной теории состоит в следующем. Прежде всего, взаимодействие – это не просто связывание двух слов по имеющемуся общему признаку. Использование слова «взаимодействие» должно подчеркнуть, что посредством этой операции общий признак только создается или обнаруживается. В противном случае неизбежно пришлось бы предполагать, что сначала имеет место общий признак, заранее известный творцу метафоры, а только потом идет процесс создания ее самой. Это условие и позволяет метафоре обладать креативностью, а не оставаться на вторых ролях.

Во-вторых, это даже не установление общего признака у двух объектов, а актуализация, используя выражения самого Блэка, через «систему общепринятых ассоциаций», связанных с вспомогательным субъектом, некоторые характеристики в главном субъекте. Суть метафоры состоит в том, что она «в имплицитном виде включает в себя такие суждения о главном субъекте, которые обычно прилагаются к вспомогательному субъекту. Благодаря этому метафора отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные характеристики главного субъекта и устраняет другие» [3. 167]. Таким образом, смысл данной операции состоит в том, чтобы не установить или создать отношения сходства между двумя субъектами, а обогатить новыми значениями один из субъектов.

Судя по всему, такая интерпретация работы метафоры со всеми возможными модификациями, остается общепринятой. Как подчеркивает Н. Уайт, применивший теорию тропов к характеристике исторического дискурса: «Метафора не дает образа вещи, которую она стремится охарактеризовать, она дает направление для поиска списка образов, связанных с такой вещью. Она более функционирует как символ, чем как знак, который, так сказать, таков, что дает нам более не описание или отражение представляемой вещи, но указыва-

ет нам какие образы искать в нашем культурном коде для того, чтобы определить, как нам следовало бы переживать по поводу представленной вещи» [9. 53]. В этом же направлении движется мысль автора книги «Организационная культура» М. Элвессона: «метафора, созданная с помощью смешения двух элементов, означает пересечение или перенос концепции или идеи из одной области в другую. Речь идет о взаимодействии двух элементов, представляющих интерес для исследователя. Для того, чтобы метафора была действенной, ее творец/аналитик или ее потребитель/читатель должны выделить правильные элементы, в которых признаки перенесены из одной области в другую и на которые направлено основное внимание в объекте. То есть те признаки объекта, которые необходимо прояснить» [10. 51].

Отсюда вытекает общий механизм, как построения, так и интерпретации метафоры. Он предполагает сочетание двух объектов (пока не важно, назовем мы их словами, выражениями, мыслями, идеями, значениями, смыслами), где один играет роль главного субъекта, а второй – роль вспомогательного субъекта или модификатора. К примеру, в столь избитом примере метафоры «любовь – роза» «любовь» явится главным субъектом, соответственно, «роза» – модификатором. Функция модификатора заключается в том, чтобы совокупностью пресловутых общепринятых ассоциаций или буквальных значений, с ним связанных, направить нашу мысль, внимание, интерес к актуализации, выделению, организации одних, вполне определенных (словами Блэка), характеристик, признаков, значений в главном субъекте и подавлению или устранению других.

Достаточно ли этого или чего-то недостает в данной схеме? Как представляется, выбранный путь можно считать верным, но требующим уточнений и прояснений. Главное, по нашему мнению, состоит в определении или уточнении функции модификатора. Он только актуализирует, проясняет, эксплицирует некоторые имплицитные характеристики в главном субъекте или создает их? Очевидно, что если предполагать первое, то при всех декларациях метафору неизбежно придется считать вторичной операцией. Если потенциал значений уже содержится в главном субъекте до всякого применения метафоры, то не избежать представления о том, что актуализировать его можно и другим путем. Вернее, метафора снова остается лишь иносказанием, либо говорящем иначе о том, о чем можно сказать прямо, либо оболочкой, лишь привлекающей внимание к тому, что само по себе носит иной облик. Выход в том, чтобы метафору рассматривать как операцию креативную, т.е. создающую, порождающую, конструирующую значения или указывающую путь, где эти значения надлежит искать, а не просто эксплицирующую их или сдвигающую внимание от одного готового значения к другому. Но данный тезис следует не просто провозгласить, а показать, как, когда и при каких условиях он возможен. Иначе говоря, следует показать, что вне метафоры приращение значений просто не мыслимо.

Но для этого, прежде всего, необходимо решить вопрос о статусе т.н. буквальных значений. Очевидно, что выделение специфических метафорических значений в противовес буквальным ведет к толкованию метафоры как иносказания и стилистического украшения, в конечном счете. Но, с другой стороны, если настаивать на ее эвристическом потенциале, то следует предполагать, что

нечто должно происходить и с пресловутыми буквальными значениями (речь идет о главном субъекте). Ведь другая сторона идеи двух значений неявно предполагает, что у слов или выражений есть некие изначально раз и навсегда закрепленные значения, а все остальное сводится к надстройке, фактически на них паразитирующей. Соответственно, отсюда недолго переход к представлению (пусть имплицитному) о существовании некоей основной, определяющей задаче языка (или знаковой системы) и его вторичных функциях. С этой позиции, если некто говорит о чем-то не прямо, а иносказательно, значит употребляет слова с иной целью, чем той, для которой они непосредственно предназначены. А цель эта с неизбежностью может быть лишь простым украшением, орнаментом, оболочкой на здоровом теле языка в виде педагогических, эстетических или идеологических интенций, призванных облегчить, украсить или завуалировать прямую истину.

Отсюда недолго путь к аналогичному истолкованию роли знаковых систем, которые предстают такой же оболочкой как по отношению к мысли, так и по отношению к пресловутой реальности. Если метафора говорит о чем-то так, что об этом же можно сказать иначе, то слова, конечно, всего лишь переодевают мысли или окутывают вещи, которые, естественно, оказываются первичными по отношению к их одеждам. И наоборот, операции со знаковыми комплексами обрекаются оставаться совокупностью поверхностных, надстроечных, второстепенных процедур.

Если это так, то намерение придать метафоре эвристический потенциал с неизбежностью требует изменения представлений о сущности и функциях знаковых систем. Здесь нам нет нужды проводить революции. Они уже осуществлены. Наша задача состоит лишь в том, чтобы подобрать подходящую позицию, позволяющую вывести из нее пригодные следствия, а именно представить операцию, названную метафорой, как необходимую. Опорой выступят рассуждения все того же Рорти. Как известно, его позиция строится на отказе от интерпретации языка как посредника между миром и человеком. «Если понятие «описание мира» сдвигается с уровня предложений, регулируемых в пределах языковых игр каким-либо критерием, на уровень языковых игр как целостностей, между которыми мы не выбираем в соответствии с критерием, тогда представление о том, что мир решает, какое из описаний является истинным, не может больше обладать ясным смыслом» [11. 25].

Это означает, что значения слов или выражений задаются, создаются контекстом их употребления, а не их соответствием неким глубинным свойствам самой, так сказать, реальности. Или, как продолжает Рорти, «мир не говорит. Говорим только мы» [11. 25]. Соответственно, логично предположить, что знаковые системы по отношению к пресловутому миру выполняют не репрезентативную, а конститутивную функцию вплоть до того, что сам «мир» появляется лишь как следствие некоторых знаковых комбинаций. Тем самым именно контекст употребления следует рассматривать как источник, основу, причину, задающую способы сочетания тех или иных знаковых комплексов. И, наоборот, по способу сочетания можно судить или предполагать возможную цель или функцию того или иного сочетания знаков. Действительно, тогда для обозначения производства значений любого рода можно использовать идею «языковой игры».

В любом случае отсюда вытекают определенные следствия. Во-первых, с этой позиции правомерно считать, что именно комбинации (и их вариации) знаков или знаковых комплексов будут создавать значения. При этом, как отметил родоначальник данной парадигмы знаменитый Л. Витгенштейн: «Сказать «Эта комбинация не имеет смысла» – значит исключить ее из сферы языка и ограничить тем самым область языка. Но границы можно проводить по разным основаниям. Можно обнести какое-то место изгородью, обвести линией либо ограничить еще каким-то способом с целью не впускать кого-то сюда или же не выпускать его отсюда. Но это может быть и элементом игры, в которой играющие должны, скажем, перепрыгивать через такой барьер. Или же это может отмечать, где кончаются владения одного человека и начинаются владения другого человека и т.д. Таким образом, проведение границы само по себе еще не говорит для чего, это делается» [12. 224-225].

Как следствие, это означает, во-вторых, отсутствие привилегированного контекста, если само по себе проведение границы призвано лишь убрать «из обращения некое сочетание слов» [12. 225]. Предполагать, что одно сочетание заведомо предпочтительнее, чем другое за пределами их конкретных функций или сложившейся традиции употребления, означало бы сохранять убеждение, что существует некая изначальная сущность человека или иерархия потребностей (если мы отказались от апелляции к «миру» как критерию отбора) как некое онтологическое основание для селекции потенциальных и актуальных комбинаций. Соответственно, утрачивает смысл разделение как на метафорические, так и на буквальные значения, а вернее применение критериев подобного типа для оценки цели и результатов языковых игр. Структурирование на поверхность и глубину здесь не работает.

В-третьих, это означает, что никаких устойчивых, раз и навсегда данных и однозначно закрепленных значений просто не может существовать. «Если я утверждаю, что указание «Принеси мне сахар!» или «Принеси мне молоко!» имеет смысл, а комбинация слов «Молоко мне сахар!» лишена смысла, то это не значит, что ее произнесение не вызывает никакого эффекта» [12. 224]. К этому можно снова добавить, что значения создаются лишь комбинациями, и нет никаких оснований считать, что одна комбинация (или правила сочетаний) более важна, весома или предпочтительна чем другая. Различие состоит лишь в том, что одни сочетания знаковых комплексов в силу исторических и социокультурных обстоятельств приняли более общепринятый характер, приобрели статус норм и взяли на себя выполнение соответствующих функций. А другие становятся или остаются «чрезвычайным происшествием», «обращение с которым требует соответственно чрезвычайной настроенности и чрезвычайных языковых мер» [13. 93]. В конечном счете, «языковая материя, с которой имеет дело говорящий в таких условиях должна обладать парадоксальным свойством, которое можно определить как неустойчивую, или динамическую заданность. Сущность этого парадокса состоит в том, что языковой материал, с одной стороны, существует для говорящего в конкретном и непосредственном виде, как собрание готовых языковых «предметов», которые могут быть извлечены из памяти в любой момент, без всяких предшествующих операций; но, с другой стороны, это такой готовый материал, частицы которого не зафиксированы в памяти в качестве устойчивых единиц хранения, но обладают

текучими очертаниями и границами, делая каждую такую единицу способной бесконечно видоизменяться, адаптироваться к другим частицам и контаминировать с ними, приспособляясь к бесконечному разнообразию условий употребления» [13. 117].

Теперь остается посмотреть, как в рамках такой парадигмы будет мыслиться и осуществляться сдвиг значений или переход от одной языковой игры к другой. Кстати, можно заметить, что неявно заложенный здесь ответ на вопросы «Почему он будет осуществляться?» и «За счет чего он будет осуществляться?» уже заключен в тезисе о конститутивной функции знаковых систем. Если, как сказал П. Рикер, мир не выражает себя через дискурс, а появляется благодаря ему [14. 133], то единственный ресурс, которым человек обладает в освоении мира (что бы не понималось под словом «освоение» и словом «мир»), – это знаки и их сочетания. И, наоборот, данная парадигма будет объяснять, как происходит переход от одной языковой игры к другой. Разнообразию эффектов будет достигаться за счет комбинаций и перекомбинаций знаков, а точнее за счет игры на сочетание общепринятого и необычного. Очевидно, что такой подход, во-первых, легитимирует истолкование метафоры как операции со знаками, а, во-вторых, меняет ее статус, переводя его с уровня стилистического украшения в необходимое условие производства значений. Тем самым можно утверждать, что в рамках данной парадигмы новация может мыслиться лишь как отталкивание, отскакивание от традиции или необычное сочетание, столкновение обычного. Метафора же будет представлять способом производства таких необычных сочетаний. Тогда возможно, хотя и с известной долей категоричности, утверждать, что выражения «создание нового» и «создание метафоры» будут тяготеть к тождественности. При этом добавим, что речь должна идти о производстве сочетаний, до этого не имевших места, не на основе принятых правил, а именно на основе их нарушения¹.

Для описания механизма перехода снова воспользуемся идеями Витгенштейна: «А не случается ли, что и мы иногда играем, «устанавливая правила по ходу игры»? И даже меняя их – «по ходу игры» [12. 118-119]. И, продолжив мысль, добавим: «И даже не предполагая, что мы устанавливаем какие-то правила и знаем последствия их применения». Ключевой момент состоит здесь в ответе на вопрос: «Можно ли миновать операцию создания метафоры?» или «Возможно ли сказать то же, но иначе?». Если «Да», то в метафоре нет необходимости. Решение нам видится в тезисе Дэвидсона, «что метафору нельзя перефразировать» и «что это происходит не потому, что метафоры добавляют что-нибудь совершенно новое к буквальному выражению, а потому, что просто нечего перефразировать» [7. 174]. Как это понять?

Для начала возможно предположить следующее: «А не перевернут ли в столь расхожих представлениях о роли метафоры весь строй рассуждений?» Не означает ли это, что только благодаря тому, что слово «любовь» мы столкнули со словом «роза», а слово «человек» – со словом «волк», появились на свет соответствующие интерпретации сути любви и человека, а не наоборот?

¹ Точнее говоря, нарушая одни правила при сохранении других. Если никакие правила вообще не нарушаются, то нет ни новизны, ни метафоры. Если нарушаются все правила – налицо бессмыслица.

Не означает ли это, что тем самым причину и следствие или форму и содержание неявно поменяли местами? Дело в том, что если исходить из установки, что новизна создается посредством необычного сочетания обычного, то становится очевидным следующий факт. В принципе неважно, скажем мы, что «человек – волк» или что «человек – свирепое и вероломное животное», главное в том, произведем мы некое новое представление о человеке или произнесем тривиальность. Если произнесем тривиальность, значит осуществим обычное, привычное, общепринятое сочетание знаков, значений, мыслей и т.д., но тогда не найдем здесь ничего метафорического. Если же мы будем стараться породить по поводу человека некую новую мысль, то с неизбежностью будем стремиться к нестандартной комбинации элементов, эту мысль создающих. Поэтому, чем радикальнее движение по оси от банальности к оригинальности, тем сильнее потребность и неизбежность метафоризации. Чем более мысль оригинальна, тем более она метафорична. Если выражение «человек – вероломное животное» показывает человека в новом, неожиданном свете, то тем самым предполагает необычное сочетание идей по поводу человека, а значит уже метафорично. Если же оно сохраняет налет тривиальности, то претендующему на новизну с неизбежностью нужно сказать, что «человек-волк» или нечто в этом роде. Вот в каком смысле мы устанавливаем правило по ходу игры и почему здесь нечего перефразировать.

Но, как представляется, подлинная глубина мысли Дэвидсона в ином. Чтобы усилить тезис о необходимости и неустранимости метафоры следует совершить еще один радикальный шаг. Он касается оценки сути метафоры как отношения на основе подобия, аналогии или сходства. Возможно, что для целей установления формальных признаков, отличающих данную операцию от других, он верен, но для определения роли метафоры – ошибочен или порочен. Наш тезис таков: сначала метафора, а потом уже установление отношений сходства, а не наоборот. Поэтому нет никакого сходства, которое могло бы мыслиться или предполагаться (пусть даже неявно) в качестве основания для сочетания значений слов «человек» и «волк», «любовь» и «роза» и т.д. А нет никакого сходства, как ни парадоксально, потому, что цель создания метафоры лежит в ней самой. Иначе говоря, необычное сочетание создается просто для того, чтобы произвести необычное сочетание. И не более того.

Конечно, атака на истолкование метафоры как подмечания сходства не нова. Вопрос в том, как избежать столь неизбежного скатывания в эту плоскость. Поэтому данный тезис нуждается в прояснении. Во-первых, мысль о том, что цель создания метафоры лежит в ней самой, означает, что ее «прямая» или «непосредственная» цель состоит в том, чтобы поразить воображение необычностью сочетания, а не произвести новое значение. Вот почему здесь нечего перефразировать в буквальном смысле слова, потому что никакого смысла, кроме эстетического, здесь просто нет. Грубо говоря, сочетание «человек-волк» создано потому, что звучит красиво, а не потому, что есть какое-то сходство между волком и человеком. Поэтому на этой стадии рассуждений можно утверждать, что самоценность необычности сочетания является содержанием, а использование буквальных значений – формой.

Во-вторых, точнее будет сказать, что мы должны приписать данной операции такую интерпретацию, чтобы ликвидировать любую возможность со-

хранения толкования метафоры как иносказания. Дело в том, что пока мы сохраняем представление о производстве новых значений как «прямой» цели создания метафоры, будет сохраняться и основание считать ее иносказанием. Но если полагать, что цель метафоры в ней самой, то с неизбежностью придется считать, что так сказано именно потому, что иначе и нельзя сказать, а иначе сказать нельзя, потому что не будет звучать красиво и поражать воображение.

Этот тезис позволяет прояснить и проинтерпретировать рассуждения Рикера о роли воображения, изображения, образности в метафорическом процессе. Вполне справедливо утверждение французского философа, что роль метафоры состоит не только в столкновении значений, «но и в новом предикативном значении, которое возникает из руин буквального значения, то есть значения, возникающего при опоре только на обыденные или распространенные лексические значения наших слов. Метафора не загадка, а решение загадки» [15. 420–421]. Именно на этапе введения семантической инновации возникает необходимость обратиться к анализу роли воображения, функция которого обеспечить создание новых конфигураций, сопровождая их с этой целью потоком образов. По Рикеру, это предполагает включение в семантику метафоры психологии воображения [15. 429]. Происходящий процесс, тем самым, может быть обозначен, в соответствии с идеями Р. Якобсона, на которые в данном случае опирается Рикер, как переключение с референциальной функции языка на поэтическую или «расщепленная референция».

Собственно, последнее выражение употреблено не случайно. С одной стороны, оно призвано подчеркнуть, что данное переключение призвано изменить наше видение, но не с одних объектов на другие, а с одной функции языка на другую. Как отмечал Якобсон: «Поэтическое присутствует, когда слово ощущается как слово, а не только как представление называемого им объекта или как выброс эмоции, когда слова и их композиция, их значение, их внешняя и внутренняя форма приобретают вес и ценность сами по себе вместо того, чтобы безразлично относиться к реальности» [16. 118]. Но с другой стороны, расщепление представляет собой производство вымысла, который осуществляется посредством новых композиций слов и выражений и приобретает продуктивный характер, поскольку позволяет актуализировать потенциальные возможности реальности.

Как нам представляется, следует согласиться с Рикером в том, что «метафору следует считать скорее актом предикации, чем называния» [15. 433]. Но это означает, в-третьих, что метафора не устанавливает сходства и на этапе интерпретации, поскольку суть дела состоит не только в том, до метафоры не существовало никакого сходства между главным субъектом и модификатором и даже не в том, что между ними посредством метафоры устанавливается или обнаруживается сходство, а в том, что посредством данной операции те или иные признаки модификатора приписываются главному субъекту. Но происходит это отнюдь не потому, что между ними изначально существовало некое сходство, которое лишь стоило задним числом актуализировать актом метафоры. Логично предположить, что причину следует искать в расширении и обогащении опыта человеческого существования. Иначе говоря, не потому «любовь есть роза», что в них есть и всегда было (потенциальное) сходство, а по-

тому что до этой операции такой опыт просто не имел места или никто даже и не предполагал, что любовь можно увидеть в таком свете. В противном случае нам не избежать регресса к истолкованию метафоры как вторичной процедуры.

Но это означает следующее. В противовес взглядам Рикера нам кажется, что не только нет надобности применять идею сходства для интерпретации сути метафоры, но и нет нужды использовать для этих целей идею образности. Что бы там не говорилось, функция метафоры состоит отнюдь не в том, чтобы порождать образы. Вернее, в этом нет необходимости. В противном случае нам не избежать нежелательных ассоциаций метафоры с наглядным образным представлением, призванным просто дополнить и облегчить понимание или толкование той или иной идеи. Как бы образы не трактовались, их наличие следует считать лишь чисто субъективной психологической особенностью деятельности либо творца, либо интерпретатора. Иначе говоря, сочетание «человек-волк» может сопровождаться потоком образов, а может и не сопровождаться. Для описания самого механизма действия метафоры в них нет никакой необходимости. Если что и должна провоцировать метафора, так это поток идей в процессе ее интерпретации.

Рискнем быть парадоксальными. Здесь важно звучание, а не смысл. А для этой цели в процессе метафоризации используются чисто семиотические ресурсы. Грубо говоря, это могут быть просто любые сочетания любых знаков вне всякой необходимости в том, чтобы иметь какой-либо смысл или подразумевать его. Поэтому вполне справедливо, что нет нужды у поэта спрашивать, что означают его слова. Он – специалист по другим операциям. Что он хотел сказать, то и сказал. Как сказал У. Эко: «Автор не должен интерпретировать свое произведение. Либо он не должен писать роман, который по определению – машина-генератор интерпретаций» [17. 428]. По той же причине понятна возможность практически бесконечного числа интерпретаций поэтической продукции. И не потому, что все они там потенциально заложены. А потому, во-первых, что функция метафоры, а любое произведение можно рассматривать как расширенную метафору, просто состояла в том, чтобы поразить воображение. Во-вторых, по этой же причине из созданного сочетания можно извлечь все что угодно. С какими из аспектов розы (шипами, цветом, формой стебля, листьев и цветка и т.д.) можно связать любовь, будет зависеть от различных контекстов восприятия метафоры. В-третьих, наращивание значений слова «любовь» и слова «роза» в процессе интерпретаций и производства новых метафор будет способствовать появлению новых интерпретаций.

И это подводит нас к финальному аспекту наших рассуждений. В работах того же Рикера звучит мысль о необходимости дополнить семантическую теорию метафоры психологической теорией воображения. Позволим утверждать, что речь должна идти о несколько иной процедуре. Действительно, метафоризация предполагает изменение правил по ходу игры, но суть его скорее в том, что в семантический процесс вторгаются совершенно инородные процедуры, имеющие отношение более к прагматике или семиотике. Что толкает творца метафоры производить те, а не иные конфигурации, какие образы при этом будут вспыхивать в его воображении, остается тайной творческого процесса. Но последовательность процедур, описывающих цель и механизм работы ме-

тафоры, видимо, должна принять следующий характер. Вернее, мы должны помыслить их следующим образом, если желаем придать этой операции статус необходимости.

Естественно, что есть различие между художественным и научным творчеством². Будем брать их с известной долей условности как некоторые полюсы новаторской деятельности. Противопоставить их можно следующим образом. То, что для одного является целью, для другого остается лишь средством. Иначе говоря, если в первом виде новаторства производство метафор самоценно, а их интерпретация или производство значений часто становится непреднамеренным следствием художественной деятельности, то во втором виде метафорический процесс сам является средством для получения новых значений, которые являются целью научной деятельности. Но, тем не менее, и в том, и в другом случае, логично предположить один и тот же набор и последовательность операций. Не будем снова воспроизводить весь строй рассуждений, связанных с определением статуса метафоры как операции, а не вида значений (метафорического в противовес буквальному), а также как операции, посредством которой происходит заимствование значений у модификатора для приращения значений у главного субъекта. Не будем останавливаться на самом по себе любопытном моменте, связанном с предварительным расшатыванием устоявшихся значений (особенно в плане научного творчества), что облегчает процесс производства и восприятия метафор.

Отметим одно. В процессе производства нового значения (или новой идеи) с необходимостью следует предположить наличие операции, которая сама по себе к производству нового значения никакого отношения не имеет. При этом не важно, будет она осознаваться или нет, затягиваться или быть мимолетной. Важно то, что она будет представлять собой необычное сочетание привычных компонентов, суть и назначение которого состоит просто в том, что оно поражает воображение. И не более того. Это не просто нарушение правил, поскольку эффект метафоры предполагает нарушение одних правил при строгом соблюдении других. Рорти справедливо заметил, что язык, состоящий из одних метафор, был бы просто журчанием [11. 68]. Это такое нарушение, которое призвано произвести эффект потрясения, возбуждения, желая снова и снова повторять созданные сочетания, чтобы продлить удовольствие. Возбуждение от необычного сочетания следует в данном случае рассматривать не только как субъективный психологический момент творчества, а как единственно возможный индикатор, определяющий как сам факт необычного сочетания или метафоры, так и его эффективность или удачность метафоры. Иначе говоря, только по его наличию автор сможет определить, создал он нечто новое или нет. Как следствие, психологическая (а может и не только) потребность постоянно повторять поражающее сочетание.

Здесь добавим, что речь идет не о коммуникации адресата и адресанта. Метафора создается не с целью поразить читателя. В противном случае она так и осталась бы загадкой, созданной автором и посланной читателю для дешифровки. Если здесь и можно оперировать дискурсом коммуникации, то сто-

² Научное творчество берем лишь в качестве наиболее яркого воплощения деятельности по производству новаций.

ит говорить скорее об автокоммуникации, когда автор отправляет сообщение сам себе и посылает его с целью определить и убедиться, создал он нечто новое или произвел банальность.

Но, повторим еще раз, сама по себе эта операция за пределами вызванного ей эмоционального состояния никакого смысла не имеет и не несет. Результат являет собой то, что потом будет называться «безумной идеей», но, по сути, представляет собой сочетание, которое осуществлено просто потому, что поразило воображение. Тем самым мы должны предполагать, что приращение значений или семантический сдвиг являются процедурой, которая осуществляется на следующей стадии, задним числом и представляет собой процесс интерпретации произведенного сочетания. Это означает также, что мы должны предполагать в структуре производства нового значения или в семантическом процессе наличие или вторжение инородной операции, более связанной с прагматикой (если под этим понимать сочетание знаков, призванное производить не смысл, а эмоциональное состояние у творца или интерпретатора) и представляющей собой такую комбинацию элементов, которая создана сама ради себя. Образно говоря, для создания нового смысла необходимо включение в структуру его производства элемента бессмыслицы. Это конечно не означает, что творец не ведает, что творит. Просто в противном случае мы не сможем помыслить ни эффект новизны, ни необходимость применения метафоры.

Что касается характеристики последней стадии в этом процессе, а именно стадии интерпретации, то она сама нуждается в интерпретации. Раз был высказан тезис, что метафора сама по себе призвана произвести чисто эстетический эффект, то необходимость интерпретации становится понятной. Но здесь снова становится вполне правомерным актуализация вопроса, не ведет ли потребность истолкования к возрождению взгляда на метафору как на иносказание. Представляется, что ответ должен носить следующий характер. Во-первых, именно в силу чисто эстетического эффекта самой метафоры возможно множество самых разнообразных интерпретаций. Что будет использовано в модификаторе для приращения значений в главном субъекте, априори сказать нельзя. Косвенным подтверждением может случить неоднократно имевший место в истории мысли факт несовпадения и даже противоположности трактовок учениками идей своего учителя. Поэтому и заменить метафору нельзя ничем. Во-вторых, если метафора есть воплощение новизны, то, как бы не строилось сочетание значений, раз оно притязает на новизну, значит будет сохранять метафоричность. Поэтому повторим еще раз: скажем ли мы, что «человек – волк» или что «человек – свирепое и вероломное животное», главное состоит в том, произведем мы некое новое представление о человеке или произнесем тривиальность. Если и то, и другое выражение притязают на новизну, то в равной мере нуждаются в истолковании. Потому интерпретация предполагает не иносказание, а то, что можно назвать разворачиванием метафоры. Необходимо оно как для опривычивания и тем самым встраивания новации в традицию, так и для операционализации и тем самым проверки ее работоспособности.

В заключение можно утверждать, что в рамках данной установки использование метафор в духе рекомендаций Аристотеля можно считать вторичной процедурой. Как справедливо указывал великий мыслитель, предполагая на-

меренность употребления метафор, «следует так или иначе смешивать одно с другим: с одной стороны слова редкие, переносные, украшательные и иные вышеперечисленные сделают речь не обыденной и не низкой; с другой стороны, слова общепотребительные [придадут ей] ясность» [1. 671]. Но следует заметить, что, скорее всего, и здесь вторичность метафоры только кажущаяся. Ведь производство значений или новых значений не является ни единственной, ни основной целью языка. А если это так, то правомерно утверждать следующее. Воспользуемся аналогией. Раз для целей популяризации тех или иных идей следует использовать яркие образы, их надлежит использовать. Иначе не будет достигнута искомая цель. Но тогда применение образов вторично только по отношению к цели создания новых идей. Если же целью является их популяризация, то наличие ярких образов просто необходимо. То же можно сказать и по поводу функций метафоры. Если желаемый эффект достигается посредством метафоры, значит она необходима и необходима именно она.

Таковы возможные выводы. Каковы же следствия? С одной стороны, мы можем говорить об универсальности применения операции метафоры и связывать ее не только с производством новых значений, но и с любым порождением нового и не только в сфере языка (или дискурса), но и в любой знаковой системе. А если руководствоваться мыслью Ж. Деррида, что нет ничего внешнего тексту, то можем использовать идею метафоры для описания новаций в любой сфере человеческого бытия. Ведь человеческое действие также можно уподобить знаковой системе и представить его как комбинацию некоторого набора элементов посредством парадигматических и синтагматических отношений. Но тогда оригинальное сочетание этих элементов вполне может приобрести статус метафоры.

С другой стороны, резонно спросить: «Не ведет ли такая универсализация к растворению всех комбинаторных процессов в метафоре?» И действительно, отмечено, что современная мысль все языковые тропы свела к метафоре и метонимии. А согласно идеям Р. Якобсона, о них можно говорить как о двух определяющих направлениях языковых действий. «Дискурс, – как подчеркивал Якобсон, – может развиваться в соответствии с двумя семантическими линиями: одна тема может вести к другой либо через сходство, либо через смежность» [18. 46]. Если же принять идеи современного отечественного литературоведа и лингвиста Б.М. Гаспарова, что первичной единицей владения языком является т.н. коммуникативный фрагмент или отрезок речи неопределенной длины, который хранится и фиксируется в памяти говорящего, и что речь осуществляется посредством столь же произвольного сочетания кусков подручного языкового материала, то метафоричность в той или иной степени становится не отклонением от нормы, а способом построения речи как таковой. Кроме того, действительно, попытка строить теорию метафоры в контексте производства новаций ведет к отождествлению этих двух процедур.

Возможно, что это цена, которую неизбежно приходится платить за придание метафоре эвристического потенциала. Конечно, не всякое сочетание элементов метафорично и, возможно, не все новое связано с производством именно метафор и не всякое необычное сочетание метафорично. Те или иные сочетания вполне могут быть интерпретированы как бессмыслица, хотя тоже лишь в определенном контексте. Рассуждения, представленные в данной ста-

ть, более выполняют задачу определения пути, по которому стоит двигаться, чтобы придать метафоре статус необходимости. Вот здесь правомерно настаивать, что предложенное направление видится единственной или определяющей альтернативой.

Что касается локализации метафоры как особой операции, то возможны следующие варианты решения данной задачи. Признавая ее универсальность как общий контекст любых современных рассуждений о характере языковой деятельности, правомерно представить (что уже имеет место) те или иные операции (языковые тропы, в частности) как типы метафоры. Столь же возможно ограничить сферу ее применения локализацией ее функций. Допустимо по аналогии с различием литературы и литературности, нарратива и нарративности разводить метафору и метафоричность по степени наличия или отсутствия соответствующих признаков. Столь же допустима, по аналогии с различием глубинных и поверхностных структур, разработка операций, позволяющих, с одной стороны, усматривать в тех или иных сочетаниях скрытые метафоры, а с другой стороны, наоборот, обнаруживать в сочетаниях, кажущихся на поверхности метафорами, проявление и присутствие совершенно иных процедур.

В любом случае, по поводу метафоры, видимо, можно говорить то же, что по аналогичному поводу сказано о месте нарратива. «Нарративы подобно «великим» или «мета» концептам, таким как язык или разум, перестают светить отраженным светом специфических дисциплинарных, институциональных или методологических сфер и сами становятся источником всеозаряющего воздействия. Рассказ – это уже не вещь в свете прожектора, а лампа, благодаря которой видятся вещи» [19. 62]. Перефразируя последнюю мысль, правомерно предполагать, что и метафора приобретает статус такой же лампы, в свете которой открываются вещи как таковые.

Литература

1. Аристотель. Поэтика. // Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 645-680.
2. Тодоров Цв. Теории символа. М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество. 1998. 408 с.
3. Блэк М. Метафора. // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С.153-172.
4. Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987. 752 с.
5. Постмодернизм. Энциклопедия.– Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. 1040 с.
6. Macey D. The Penguin Dictionary of Critical Theory. Penguin Books, 2000. 490 p.
7. Дэвидсон Д. Что означают метафоры. // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С.173-193.
8. Беседа М. Рыклина с Р. Порти. Логос. 1996. № 8. С. 132-154.
9. White H. Historical Text as Literary Artifact. // The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding. Ed. by R.H.Canary and H.Kozicki. The University of Wisconsin Press, 1978. P. 41-62.

10. Элвессон М. Организационная культура. Харьков: Издательство Гуманитарный Центр, 2005. 460 с.
11. Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. 282 с.
12. Витгенштейн Л. Философские исследования // Л. Витгенштейн. Философские работы. Часть 1. М.: Издательство «Гнозис», 1994. С. 75-319.
13. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. 352 с.
14. Ricoeur P. Hermeneutics and the Human Sciences. Cambridge University Press, 1995. 314 p.
15. Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение. // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С.416-434.
16. Якобсон Р. Что такое поэзия? // Р. Якобсон. Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996. С.106-118.
17. Эко У. Имя Розы. М.: Книжная палата, 1989. 435 с.
18. Якобсон Р. Два вида афатических нарушений и два полюса языка // Р. Якобсон. Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996. С.27-52.
19. Kreiswirth M. Tell Me a story. The narrativist turn in the Human Sciences // Constructive criticism. The Human Sciences in the Age of Theory. Ed. by M. Kreiswirth and T. Carmichael. Univ. of Toronto press, 1995. P. 61-87.